

Язык философии. Лекция I (12.09.1989).

Название «Язык философии» вообще говоря не должно значить, что мы нашли в философии — помимо философии — еще и ее язык, как бы ящик с инструментами, которым пользуется философия; или может быть материал, который она обрабатывает. И уж тем более тема «язык философии» ставится не так, что будто бы мы имеем намерение обслуживать философскую профессию, хотим помогать ей, скажем, правильно обращаться со своими терминами, а то она не умеет. И не потому что мы не хотим, а потому что мы уже не имеем права надеяться и верить что бывает, что за невразумительным или плоским философским словом стоит какой-то глубокий смысл и надо только помочь ему найти слова, выразив себя. Лучше считать заранее, что философская мысль весит ровно столько, сколько весит философское слово; причем так, что пустое слово не ничто, не нуль, а хуже, не просто сотрясение воздуха, а разрушение мира.

Экология слова, — без всякого преувеличения сказать, то есть экология мысли, — важнее чем экология природы. Конфуций, о нем в Аналектах есть такое место, это книга 13-я, глава 3-я, «Цзе-лу сказал учителю: правитель страны Вэй ожидает тебя, чтобы вместе с тобой наладить управление. Что бы ты считал первым делом, которое надлежит сделать? Учитель ответил: что необходимо — это исправить имена. Ну да, в самом деле, сказал Цзе-лу, ты попал пальцем в небо, зачем должно быть такое исправление? Учитель сказал: ты человек не очень большого просвещения, Лу. В отношении того, чего он не знает, человек высшего достоинства показывает осторожную сдержанность. Если имена неправильны, если язык не находится в согласии с истиной вещей, дела не могут делаться успешно; когда в делах не достигается успеха, должное поведение и искусство гармонического согласия не будут процветать».

Разрушение слова начинается с нарушения мысли, мысль никогда не исправится, если не прислушивается к своему слову. Томас Элиот: «How can I tell what I mean until I see what I say», как я могу сказать, что я имею в виду, пока я не посмотрю, что я говорю. Какой настоящей экологии можно искать у человека, который создает грязь при первом прикосновении к миру. Первое прикосновение к миру это мысль и слово.

Отсюда опять-таки не следует, что мы должны стать такими жандармами, таким заслоном на воображаемом контрольно-пропускном пункте, чтобы заблокировать выход в свет словесной грязи и скажем требовать отбирать диплом философа у каждого, кто губит нашу словесную и мыслительную среду. Мало того что это было бы бесполезно, но главное — наше дело философия, философия начинается не с очистки языка. Тот же Конфуций сказал, ...Аналекты, книга 15 гл. 40, «в языке требуется просто, чтобы язык нес мысль». Как ни путано, и как ни расстраивает состояние общества, как ни безнадежно дело философии, оно *только* в том, чтобы каждый раз снова и снова давать слово мысли. Давать слово мысли не значит подбирать для нее выражения, потому что сама мысль с самого начала сама уже и есть то, чем является в своем существе слово. Оно имеет смысл. Мысль поэтому стоит в исключительном отношении к слову, она заранее есть как бы уже слово, она

несет в себе свое слово. Дать мысли слово значит просто отдать его ей, то которое у нее уже есть в том смысле, что она уже есть смысл. Мысль уже слово в своем существе. Поэтому название «Язык философии» что-то вроде тавтологии, философия если она *мысль*, уже тем самым и язык. «Язык философии», это должно звучать примерно как «цветение цвета» — «язык философии».

Тогда нужно спросить, что же такое язык, если мысль предполагает язык и язык предполагает мысль. Из-за очарования родного языка слово «язык» кажется само собой понятным; как всё, что говорится такими вот привычными звуками. Наш язык естественный не потому что он от природы, а потому что мы всегда ожидаем от него естественной понятности. В родном языке на каждом шагу понимание не выстраивается вслед за слышанием, а опережает слышание. Мы еще не дослушали, а уже киваем: «Понятно, понятно». Если непонятно, мы скорее всего станем слушать и говорить что-нибудь другое; точно так же как ученик избегает в сочинении слов, которые не знает как писать.

Понимание скользит по поверхности слов, и не зря, потому что с такой же легкостью, с какой получается понимание, слова родного языка становятся непонятными. Когда слышишь слово «язык» во второй раз, понимаешь его уже меньше, чем когда слышишь в первый. А когда мы попробуем *определить* язык, то попадем прямо в беду. Вот первое определение, которое слышим: «Язык есть средство общения». Но ведь кудахтанье кур — оно бывает самодовольное или тревожное, всякое — это *тоже* средство общения их между собой и с человеком. Добавляют: язык средство *человеческого* общения. Смысл не лучше, и привносится еще элемент абсурда, как будто бы общение это род, *genus*, внутри которого есть виды, *species*, «общение кур», «общение человека». Может быть автор определения «язык — средство человеческого общения» подразумевал, что только человеческое общение пользуется языком, а внечеловеческое общение использует не язык, а, скажем, систему знаков? Но с другой стороны язык ведь тоже определяется как система знаков. И остается непонятно, по какому признаку средство общения кур нельзя назвать языком. Я думаю, что дефиниция «язык — средство общения» выполняет функцию устрашения, отпугивания от попыток разбора, а не вдумывания. В ней чувствуется волевой подход, который заявляет о своем праве на произвол. Мы чувствуем, что нас затягивают в сложность, а распутать не помогут, потому что заняты, похоже, не распутыванием, а скорее наоборот. И простое чувство жизни отталкивает нас от этого определения и вообще от подобного рода определений. Скорее выбраться обратно, на твердую почву! А где, спрашивается, твердая почва? Мы же ведь уже оказались втянуты в определение языка, так что возможно никакой твердой почвы за нами уже вообще нет? Мы сами виноваты: неопределенность началась в тот момент, когда мы пустились в разбор того, что казалось естественно понятным; может быть нужно было так и остаться на том, что естественно понятно? Ясно, что такое язык, и ясно, как на нем изъясняться. Не надо было разбираться. А с другой стороны, если люди назвали философиями, то они не имеют права жалеть, что проваливаются сквозь язык; что вместо почвы оказывается бездна. Ведь что мысль есть в своем существе слово, вовсе не значит, что она имеет право без вопросов и без проблем пользоваться готовыми словами, а скорее наоборот, она должна требовать, она обязана требовать, чтобы она в слове находила сама себя.

Между прочим, у Ленина, из которого взята, якобы взята эта дефиниция, «язык средство общения», на самом деле ведь говорится другое: *важнейшее* средство общения. Как *важнейшее* средство язык это средство общения по преимуществу, κατ' ἑξοχήν, то, на что надо в первую очередь смотреть, чтобы понять, что такое средство общения вообще. Ну, примерно так же, как мы смотрим на Москву, чтобы понять, что такое большой город, а не воображаем какой-то усредненный город, чтобы понять что такое Москва. Москва город κατ' ἑξοχήν, важнейший город, и он дает понять, что такое крупный город. Если язык есть важнейшее средство общения, то мы начинаем понимать вовсе не *язык из* средств общения, а наоборот, средство общения из языка; начинаем понимать, что общение существует прежде всего как явление языка, т.е. как сообщение — общаются потому, что есть что сообщить людям, а не наоборот, люди ищут, что бы им сообщить друг другу, потому что есть общение. В начале всякого общения, а значит и общества стоит сообщение, message. Вот так Новый Завет, т.е. Новый Закон для всех людей, для всего человеческого сообщества, называется еще иначе Благой Вестью. Вокруг этой благой вести начинается сообщество новых людей.

Как же тогда называть язык «средством»? Язык как сообщение выходит не простое средство, за которое хватается общение, которое якобы есть раньше языка, а скорее общение возникает из сообщения. Язык то сообщение, на котором возникает, в стихии которого имеет место общение. Язык поэтому ничуть не меньше *носитель и среда*, чем *средство* общения, даже скорее среда, чем средство. И если общение это не одно из занятий в ряду прочих занятий человека, а человек по определению, по существу — общественное существо, т.е. никогда не осуществится иначе как в обществе, то язык как сообщение есть среда человеческого осуществления. Это вовсе не дефиниция, а вот мы набрали на это новое, на то, что язык может быть не средство, а среда, в порядке такой чистой эвристики, некой догадки. Мы невзначай набрали на это новое определение, когда попробовали вот насесть всерьез на дефиницию «язык средство человеческого общения», а эта дефиниция под нами не устояла на своих ногах, она подается, расседается, ускользает из рук, себя не может оправдать, расплывается, и вот она нечаянно намекает на другую, язык вроде бы не средство, а он *среда* человека, если человек хочет осуществиться как человек. Это новое я говорю опять-таки не определение, а намек, с которым еще нужно долго свыкаться, неожиданно оказался у нас в руках вместо старого не как конец рассуждения, а как начало, как то, что еще требует осмысления. Еще требует осмысления, а уже сейчас как будто бы обещает понять, почему мир человека это не то же самое что окружающая природная среда; потому что у человека другая среда, не физическая, а язык; не та, что у животного. Вот это новое определение языка, которое нам померещилось, «язык среда», говорит как будто бы, что в отличие от животного, для которого знаки его языка это знаки того что случается в данной части мира (курица снесла яйцо, курица увидела голодную кошку, — а голодная одичавшая кошка страшна), а для человека его среда — язык, и именно как сообщение, в смысле вести, в смысле вести откуда-то очень издалека, в смысле message, в смысле миссии. Сообщение не о расположении окружающих вещей, а сообщение о чем-то целом, которое никак нельзя *вычитать* из расположения окружающих вещей. Сообщение

которое он слышит для *того* чтобы нести его в свое окружение, а не вычитывает из того, что вокруг него.

В другой связи, об этой радикальной разнице между так называемыми языками животных и языком человека мы говорим вот как: что животные обитают в природном окружении, а человек присутствует в мире. А до сих пор мы же говорили что в среде, и эта среда язык, что же получается? Опять неожиданно, новая догадка; новое равенство — язык как среда человека есть мир. И опять это не дефиниция — было бы слишком хорошо чтобы мы так вот легко получали вдруг дефиниции — а вопрос. Так же как скорее вопрос, чем ответ, хайдеггеровское равенство: язык есть дом бытия. В каком смысле? Но раз уж этот вопрос нам напросился, — язык есть среда, язык есть мир, — мы не должны от него сразу же отмахиваться, а может быть к нему еще каким-то другим путем вернемся. Во всяком случае жалеть, что мы провалились сквозь язык и оказались вместо понятности в неопределенности, не нужно; мы провалились не в пустоту. Сомнения и неопределенность не пустота.

Слово «мысль», вот в этом определении, да и в старом определении «язык средство общения», и в новом не определении, а загадке «язык среда, язык мир», вроде бы не участвует. Мысль предполагается однако, ну например в понятии «сообщения»; поскольку сообщение должно же иметь смысл. И между прочим, мысль заложена в понятии мира, потому что мир имеет исключительное отношение к человеку. У животного мира нету. Причем мир имеет отношение к человеку не в его биологии, мир это не то место, где человек выживает — он выживает в окружающей среде; а мир имеет отношение к человеку в его биографии — там где человек поступает, там где человек ищет свое место и находит свое место. Он находит свое место в мире, а не, скажем, в географическом пространстве. Причем для этого человек должен вести себя именно как человек, т.е. вести себя осмысленным образом, как разумное существо. Поэтому мир имеет отношение к смыслу. Что же, сразу спросим, может быть мир это *миф*, как намекает в разных местах Алексей Федорович Лосев? Мир это *миф* в смысле картины мироздания — человек строит себе мировоззрение и в нем живет? Предположим, так. Тогда предположительная дефиниция наша, «язык среда», «язык мир», означает, что человек в своем *человеческом* отношении к миру весь опутан своим языком, тем мифом, который он создает? А может быть всё-таки не очерчен? А в каком смысле тогда вообще здесь нужно понимать язык? Может быть всё-таки не как русский или английский, а как какой-то всечеловеческий язык; а что это такое — всечеловеческий язык? Вот тематика, на которую буквально наталкивается, чтобы сломать ноги или ломать голову, каждый человек, когда вот говорит, произносит такие слова: *язык, мысль, мир*. Язык и мысль; мысль и язык; язык, мысль и мир. Это тема, на которую время от времени пишутся книги и за которую снова и снова берутся люди в промежуточной области между философией и языкознанием.

В начале нового научного языкознания, двухсотлетнего, Вильгельм фон Гумбольдт (1767 год — 1835 год) в своем главном и последнем произведении «О различии строя человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» дает определение языка, от которого отталкивается — в обоих смыслах, одновременно и зависит и пытается уйти — вся последующая

лингвистика, наука о языке. В параграфе 14-м этого большого и малоупорядоченного трактата, где Гумбольдт то как философ отдается интуициям бытийности языка, то вдруг входит в подробнейшие частности разных языков мира, американских, полинезийских, и вот этот переход как качание маятника много раз повторяется в этом большом произведении, вот в параграфе 14-м стоит это знаменитое определение: «Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken». Русский перевод. В русском переводе благоговение перед именем Гумбольдта заметно по пышной велеречивости. Вообще стоит обратить внимание на то что, я уже говорил, на русском языке, в русском языке очень легко в любой теме перейти на что-то вроде стихов в прозе, и уже потом трудно бывает от речитатива вернуться к сути дела. Причем вот эта пышность слога ничуть не исключает непродуманности, а как раз наоборот. Перевод дается такой: «Язык есть орган, образующий мысль». Язык есть орган, образующий мысль, и мы сразу же обратили бы внимание на какую-то неладность этого перевода и сказали, что тут что-то не так, но беда в том что мы привыкли к тому что в переводах на русский язык, особенно философских переводах, всё равно бывает много неувязок. И мы как бы перестали от этого страдать, мы перестали обращать внимание на то что в философском переводном тексте часто бывают несообразности. Нам кажется что так вроде бы и должно быть. А вот не должно.

В самом деле, «язык есть орган [«язык есть орган», то есть инструмент, орудие], образующий мысль [то есть в ходе работы этого инструмента, или орудия, возникает каким-то образом мысль]». Спрашивается — а кто работает этим инструментом, или что работает этим инструментом? Если мысль еще только образуется, «язык есть орган, образующий мысль», то, можно думать, работает не она, не мысль, или по крайней мере не только мысль, а что тогда работает? Что, сам язык какими-то своими словами и способами сочетания слов диктует нам нашу мысль? Так что это нам только кажется, что будто бы мыслим мы, а на самом деле мы нечаянно принимаем смыслы, которые нашептывает нам язык? Прямо скажем: это суеверие, это вера в колдовство нашего собственного языка. Такого суеверия не могло быть у человека как Гумбольдт, который прошел философскую школу. Такого просто быть не может.

Переводчик или вообще не думал, когда писал «язык есть орган, образующий мысль», или думал не то что сказал. Возможно, он придавал для себя вот как-то лично, ведя счеты с самим собой, слову «образующий» смысл «оформления и расчленения неоформленной массы», «образующий» не в смысле «создающий», а в смысле «придающий форму». А всё равно остается неясным, *чей* орган язык, оформляющий мысль. Предположим, мысль уже и ждет сама формы, но всё-таки — кто действует? Рано или поздно придется оставить этот русский перевод в покое и обратиться к собственным словам Гумбольдта. Как и вообще, увы, от работы с переводами никогда добра не будет.

У Гумбольдта сказано: Organ des Gedanken, орудие мысли. Мысль имеет орудие. Это орудие мысли язык, речь, слово. То есть совсем наоборот чем в русском переводе. Не над мыслью работает язык, а мысль пользуется языком-орудием. Язык это орудие мысли. Похоже на то, что мы раньше отвергли — что язык есть средство общения. Язык орудие мысли, язык средство общения —

похоже. Орудие при чем-то. Гумбольдт говорит «орудие мысли», но всё равно — нечто вроде средства.

Как будто бы. Но у Гумбольдта сказано сложнее, не «Organ des Gedanken», а «das bildende Organ des Gedanken». То есть «язык у мысли образующий орган», в смысле образотворческий, формирующий, образивающий. И что же он образивает? Во-первых мир. Мысль имеет дело с миром, язык стоит где-то посередине, по Гумбольдту, между мыслью и миром и служит мысли органом придания облика миру. Но, во-вторых, имея дело с миром, мысль образуется и сама. Язык, по Гумбольдту, оказывает постоянное обратное воздействие на мысль. То есть выходит, что язык, образуя мир, образует тем самым и саму мысль. Мысль работает своим *орудием-языком* — орудием образования мира — и попутно образует этим же орудием сама себя. А разве так бывает, чтобы действующее начало, обладатель органа своего действия, само себя подтягивало, дорабатывало, образовывало собственным органом? Вот так у Гумбольдта. И как раз тогда мысль смогла иметь орган..., раз она смогла иметь орган, значит она *уже* как-то образована, а чем? Где концы и начала, как их уловить? *Как* она смогла иметь орган, если она еще не образована этим органом, которым она себя же образует? Если она еще *не* образована, она не могла иметь частей, она должна была быть чем-то целым. Как этот орган смог заранее образоваться у нее, если он же только и образует ее; через образование мира, но всё равно, если он только и придает строение ей же самой, выстраивает — то есть выстраивает и мир, и вместе с миром саму мысль? Ведь пока нет образа мира, нет и образа мысли. Если мысль еще только собиралась иметь орган, который будет сообразовывать ее с миром, то как у нее *уже* имелся язык? Мы концов и начал здесь не найдем, из этого круга не видно выхода. Что раньше, что позже?

Из этого круга не выходит и сам Гумбольдт. Он постоянно колеблется между двумя крайностями, между двумя полюсами; и когда подходит вплотную к одному из этих двух полюсов, он от него отшатывается к другому, и от другого точно так же. Как только язык ему предстает, начинает казаться *всего лишь* средством, всего лишь орудием мысли, он сразу же спешит это перечеркнуть: нет, это орудие исключительное, это такое орудие, которое самым прямым и глубоким образом действует на мысль, делает ее собственно мыслью. Но как только он подходит к другому полюсу и язык начинает ему казаться силой, которая *определяет* мысль, диктует ей, какою мысль должна быть, Гумбольдт сразу спешит добавить, что нет, чистая мысль в конечном счете свободна от любых воздействий, и тем более уж конечно от воздействия омертвелых языковых форм. Совершенно свободна. И она верна своей стихии, безусловно свободной стихии духа. В этих колебаниях Гумбольдт не останавливается, вот его мысль можно измерить вот этими двумя противоположными полюсами — есть и то и другое, и от того и другого он отталкивается.

Он как бы загадывает загадку неразрывной связи мысли и слова и не разгадывает ее. Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken, «язык есть образующий орган мысли», т.е. орган, которым мысль образует, но так что он же образует и саму мысль. Это парадоксальный тезис, согласитесь. И в нем есть

бездна, в которую Гумбольдт постоянно заглядывает и которую не может просветлить.

И не так, что у кого-то другого разгадка этой загадки есть. Дело в том, что Гумбольдт говорит о мысли и языке, думает о них вот в терминах этой полярности, этой полярной противоположности, когда то мысль оказывается абсолютно свободной, не зависимой ни от каких языковых форм, то оказывается, что мысль не может образоваться без языка. Он говорит и думает об этом, но захвачен он похоже другим, всё-таки. На самом деле ни язык, ни мысль для Гумбольдта не самое первое, еще не вся глубина. Именно потому что язык у него *бесконечно* глубок, он указывает на какую-то еще большую глубину. Я сейчас плохо сказал, но может быть я смогу сейчас как-то уточнить. Язык для него это Откровение, *Offenbarung*, обнаружение духовной силы человечества, или просто духовной силы, потому что духовная сила у Гумбольдта не ограничена человечеством, она самостоятельна, она действует как бы поверх своих воплощений в человечестве. Язык это откровение, *Offenbarung*, духовной силы. Очень глубокое откровение, глубже которого нет, и всё-таки, духовная сила раньше, *Geisteskraft*, духовная сила как вулкан выбрасывает из себя в своих извержениях, в своих наиболее подлинных проявлениях в истории человечества, выбрасывает из себя и то и другое, и слово и мысль, как бы слово-мысль, мысль в ее органе-языке. Слово и мысль равносильны. И всё-таки вулкан, вот той духовной силы, в своем бурлении недостижим. Духовная сила, *Geisteskraft*, раньше слова и мысли, поэтому мысль-язык заглянуть в нее не может. Духовная сила такая какая она есть. Ее ни постичь, ни до конца разведать невозможно. Поэтому Гумбольдт в принципе не может сказать, то что говорила традиция на протяжении тысячелетий, что в начале было слово, вот этого Гумбольдт сказать не может. В начале, говорит он, «*jene geistige Kraft, die sich in ihrem Wesen nicht ganz durchdringen ... läßt*», «в начале та духовная сила, которая в своем существе вполне проникнуть в себя не позволяет».

Я скажу сейчас очень произвольную такую параллель, но с Гумбольдтом тут происходит примерно то же, что с Фаустом, когда Фауст берется за перевод Нового Завета. Он берется за перевод Нового Завета и читает первые стихи Евангелия от Иоанна:

Geschrieben steht: «Im Anfang war das *Wort!*»¹

¹ Гёте, Фауст, сцена 3, весь фрагмент в русском переводе (с заключительными стихами) — пер. Н. Холодковского:

Написано: «В начале было Слово» —
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
Да, в переводе текст я должен изменить,
Когда мне верно чувство подсказало.
Я напишу, что Мысль — всему начало.
Стой, не спеши, чтоб первая строка
От истины была недалеко!
Ведь Мысль творить и действовать не может!
Не Сила ли — начало всех начал?
Пишу — и вновь я колебаться стал,
И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул — и выход вижу смело,

Вот тут написано: В начале было слово.

Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das *Wort* so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen.

Вот запинка, говорит он, кто же мне поможет? Я слово не могу так высоко ценить, надо перевести как-то по-другому.

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der *Sinn*.

Если я по-настоящему озарен духом, geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. Интересно, в начале он сказал «geschrieben steht: Im Anfang war das *Wort*», «написано “В начале было слово”», подумав, он говорит: «Написано: “В начале был *смысл*”». То есть одно и то же греческое слово λόγος, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, «в начале было слово, в начале был логос», он переводит сначала как «слово», а потом передумывает и переводит как «смысл», «в начале был смысл». На этом не останавливается.

Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!

Нет, говорит он, обдумай всё-таки эту первую строку, чтобы твое перо не было слишком скороспелым.

Ist es der *Sinn*, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die *Kraft*!

А в самом ли деле это смысл всё делает и всё создает? Нет, должно было бы быть написано: В начале была сила. Вот Geisteskraft, духовная сила у Гумбольдта, это пока еще как бы классический идеализм.

Но Kraft, сила, это слово у которого огромная будущность в XIX и XX веке. Это ключ к будущим редукциям, всё более крутым, драстическим редукциям действительности к какой-то первооснове, к *подлинному* источнику,

Могу писать: «В начале было Дело»!
пер. Б. Пастернака:
«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть?
"Была в начале сила". Вот в чем суть.
Но после небольшого колебания
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было дело», — стих гласит.
(Прим. ред.)

к подлинной энергии, к подлинному силовому так сказать началу всей действительности. И вот Гумбольдт, пока еще казалось бы принадлежащий традиции, именно потому, что он говорит, что та первая сила, от которой происходит всё, она непостижима, что она таится в глубине, что она разворачивается в мысли, в языке, он делает незаметно вот какую вещь: он выставляет язык за дверь. И это мало замечаемая оборотная сторона его философии языка, оборотная сторона его казалось бы невероятно высокого понимания языка. А лучше бы он не возвеличивал так язык. Язык не оказался бы тогда *выведен* из подлинной реальности, из тайны, не был бы обособлен, не был бы опредмечен, не был бы так выставлен на вид, так превращен в обнаружение. Он остался бы в укромной неприметности, как он был всегда, до века современной лингвистики. Язык у Гумбольдта нуждается в возвышении как раз потому, что еще раньше того, как бы ненароком, исподволь, язык выведен за пределы того, что только и может быть у Гумбольдта названо настоящим хозяином всего. Настоящий хозяин это неименуемая, непостижимая, неприступная сила. Гумбольдт только и говорит об уникальной значимости языка для мысли, настаивает, что мысль неотделима от языка... — а почему он так настаивает? Настаивает, что слова никоим образом не просто этикетки, наклеиваемые на вещи... — с кем он спорит? Значит, *уже* что-то в нем *сказало*, что возможно, что язык таков? Уже *поздно* говорить, что язык не этикетка. Решающее уже совершилось. И гумбольдтовское возвеличение языка это безнадежная попытка *задним* числом поправить непоправимое. В самом настойчивом связывании языка с мыслью, где Гумбольдт спорит с самим собой, язык *уже* выделен в особую область, а после этого уже можно как угодно оценить и оценивать его, как угодно высоко. Гумбольдт отошел от традиции, говорившей что вначале было слово, так он сказать уже не может, он *уже* выделяет слово как обособленную часть, обособленную область для работы с ним как с объектом. Он задает основу для будущей проработки языка, научной лингвистики.

И вот сразу же после Гумбольдта, как в общем и после Гегеля, вообще после построений немецкого классического идеализма, вся эта метафизика была сразу же решительно отброшена; как лишнее. Что такое дух? что такое духовная индивидуальность? что такое мысль? Позитивной науке это было уже неясно, — как с этим работать, как с этим оперировать? Но вот установка на глубину, на углубление, на разыскивание какой-то основы, которая в недрах, в истоках языка, она осталась, и стала главным ходом всей лингвистики, а шире сказать — в общем-то и всей науки. С разных сторон, с разных подходов к языку, — после того как Гумбольдт *выдал* язык для изучения как нечто обособленное, как предмет, — к языку стали прилагать инструменты анализа. За языком что-то кроется, надо только узнать — *что?* Вместо духа, — Гумбольдт говорил что в глубине языка стоит *Geistkraft*, сила духа, — вместо духа язык привязали причинной связью к чему-то более понятному и осязаемому, к тому что можно фиксировать, на опыте установить... — к психологии, стали видеть за языком психологические процессы. Скажем, человек много раз видит курицу, разные куры по сходству внешнего облика ассоциируются у него в единый образ. Этот образ в свою очередь ассоциируется с голосом курицы. Так возникает слово, «курица». Это этап психологизма. Но вы сразу заметили, что это похоже на слишком легкую схему, слово ведь на самом деле возникло давно, и кто знает, может быть неправда, что оно именно

так вот возникло. Тогда начинается *небывалая* историческая проработка языка, отыскиваются языковые ветви, конструируется первоязык, праязык. Прошлое языка манит тем, что от него уже как будто бы рукой подать к тому первоязыку, от которого всё пошло. Но опять ничего не получается. Древние языки оказываются ничуть не примитивнее современных. Общий праязык удается уловить только с помощью гипотезы, никогда не с помощью наблюдения, т.е. опять с помощью подстановки желаемой схемы под факты. Это эпоха младограмматиков, и исторического изучения языка. Это увлечение было сметено новым.

В начале XX века на сцену вышла структурная лингвистика. Она сказала, что в существе языка вообще нет ничего содержательного, нет никакой не то что метафизики, но нет никакой психологии, никакой истории; т.е. есть, но это несущественно. Т.е. говорить по поводу языка о содержаниях, о психологии и об истории — пожалуйста, сколько угодно; но существо языка не в них. Существо языка это система, структура; а структура есть в своей основе это система расподоблений, противопоставлений. Всё что попадает в структуру, начинает различаться, расподобляться, организуется. Если бы спросили структуралистов, откуда структура в языке, они бы ответили: от структуры в бытии. Есть же структура в природе, есть структура в биологии. Если бы спросили, а откуда структура в бытии? — Неизвестно откуда. Во всяком случае, есть же она в бытии, есть же там какая-то структура! Ну, может быть из какого-то бессознательного... И дальше идут разветвления структурализма: ну, может быть *коллективного* бессознательного... — кто ее знает, откуда, не знаю! Структура есть, и всё тут, вот откуда-то взялась! Всегда была, без нее не бывает. «Откуда структура?» — структурализм тут вопроса не видит, это дело метафизики, а структурализм наука.

Поэтому после всей истории развития лингвистики через психологизм и через историзм структурализму оказалось легко сказать то, чего уже не мог сказать Гумбольдт, и что после Гумбольдта не могли сказать ни психологизм ни историзм. Ведь структурализм по существу очень легко, не задумываясь, говорит что в начале было слово, ведь структура это некий смысл. Только какой ценой сказал это структурализм — ценой отмены всех вопросов о том, что такое слово в своем существе, что такое смысл в своем существе, и как относятся слово и смысл к тому что есть. В этих вот вопросах структурализм видел опять-таки прежде всего повод говорить еще раз о структуре. И говоря о структуре, что бы структурализм ни выявлял, всё это оказывалось снова опять структурой и только структурой. Структура это структура, некий строй.

Итальянский теперь уже романист, автор романа Умберто Эко, в 60-е годы лингвист, который начинал с увлечения структурализмом, Умберто Эко взгляделся в структуру, это книга «*La struttura assente*», Милан, 1968 год, и нашел ее парадоксальность. Структура как будто бы вот самым наглядным образом наблюдается, выявляется, да во всём, вот дерево, оно имеет вот такую структуру. Но если структура выявлена, при чем успешно выявлена, то тот анализ, в результате которого структура выявлена, не останавливается. Он обязан спросить, исследователь обязан спросить: А что за этой структурой? Умберто Эко определяет: структура это модель, построенная путем определенных упрощающих операций, которые дают мне привести к

единообразие разные явления, если смотреть на них с единой точки зрения. Но ведь за спиной одной структуры всегда оказывается другая, более общая, и так далее..., всё более простая. И в конце этого анализа, этой редукции, говорит Умберто Эко, мы приходим к тому, что уже *не* структура, а просто нечто, просто нераздельное единство, цельность. Допустим, что на самом деле, скажем где-то в аппарате мозга, есть окончательная структура, первичная, раньше которой уже ничего нет. Так допустить нельзя, потому что по самой логике структурного исследования придется спросить: а какова структура *этой* структуры? И при вскрывании структурных слоев исследователь если он не скован готовой установкой, рано или поздно придет просто к бытию самому по себе. Умберто Эко: «исходное пространство это то, где бытие, оставаясь потаенным, дает о себе знать, конкретизируясь в структурированные события, но само ускользая от всякой структурности. Структура как нечто объективное и стабильное ... взрывается... и определяющим остается то, что уже более не отструктурировано. Если вот каким образом всякая структура оказывается уже сообщением о чем-то более первичном, то модусом существования структуры, говорит Умберто Эко, приходится считать отсутствие. Книга его называется *La struttura assente*, «Отсутствующая структура». Структура которую я держу в руках, пока я ее держу в руках, поскольку я ее выявил, гарантирует мне тем самым возможность выявить *еще* более простую и всеобъясняющую структуру. Чтобы отыскать первоструктуру, я должен не абсолютизировать промежуточные мои достижения. И получается, что, говорит Умберто Эко, «структура откроется мне лишь через свое прогрессивное отсутствие». Я ее на каждом шагу открываю, и она на каждом шагу ускользает. И дальше его слова: «А как только я признаю отсутствие конституирующего первоязыка, мне придется набраться мужества и заявить, что будучи отсутствующей, структура, конституирующая всякую другую структуру, сама структурирована. Если она предстает структурированной, это признак того, что под ней есть еще структура, более окончательная, более отсутствующая, если позволительно так выражаться (а так выражаться позволительно). В таком случае естественным завершением всякого онтологически последовательного структурного исследования будет смерть идеи структуры. И всякие поиски констант, задуманные в качестве структуральных, если им удастся остаться структуральными, будут неудачными поисками, мистификацией. Это похоже уже последний вывод. И вот исследованию, что у Умберто Эко, угрожает главным образом *успех* исследования. Успех, который заставляет думать, что вот, мы нашли, действительность имеет вот это, успешно выявленное, а не какое-то другое устройство. Но не надо спешить с отождествлением, это — то, еще раз я его процитирую: «Онтологическая ошибка не в том, чтобы всегда держаться другой гипотезы тождества, стоящей на службе фронтального исследования различия. Онтологическая ошибка считать запас возможного нетождества исчерпанным, чтобы сразу и с абсолютной уверенностью открывать всегда тождество». Т.е. важно помнить, что запас нетождества неисчерпаем.

Структура проясняется как отсутствующая. На самом деле ее нет. Язык как структура тоже ускользает, тает. После двух веков научной лингвистической проработки языка язык от лингвистики ускользнул. Он послал лингвистику исследовать очень широкие просторы психологии, истории, социума, но может быть ... — да, а сам ускользнул — может быть он на самом

деле незаметно ускользнул от научной лингвистики в самом начале, когда она впервые стала его изучать как *объект*. А язык возможно вообще не объект, и он возможно не *что-то*. Он весь как бы в отводе глаз, от него самого к вещам. Весь язык это посылание, посылание к тому, на что он указывает своими стрелками. Исследователи наивно пускаются когда по его указанию, начинают изучать смыслы слова, дополнительные смыслы, коннотации, изучать социальные факторы языка, начинают курсировать в этих необъятных областях психологии, истории, логики, социальности, а язык прячется в этом указывании, в этом отсылании, как само же указывание, которое не видно. Вот мы захотим увидеть указывание, а всё равно будем видеть то, на что он указывает, будем видеть только вещи, на которые язык указывает. Само указывание, язык сам не виден. Но указывание — если мы захотим увидеть указывание — ведь тоже указывает язык, а где он сам? Он ускользает и после себя оставляет ничто. И может быть и не надо пытаться его снова найти. Может быть достаточно довольствоваться тем, что мы после этого явно краткого неполного обзора двух столетий лингвистики остались *вместе* с ней с пустыми руками.

Язык ускользнул, но попробуем не впасть в панику. Может быть так и должно было быть, ведь язык всё равно не сводится только к словам и к подбору слов. Он раньше того предполагает выбор: говорить вообще или *не* говорить. Выбор между молчанием и словом это тоже язык; и этот выбор между молчанием и словом он *раньше* чем выбор между словом и словом. Неуместное слово хуже чем нескáзанное. Нужно постоянно помнить об этом спутнике слова, о молчании. Человеческий язык в отличие от языков животных можно определить как речь, которой могло не быть. Птица не может не петь в мае, а человек может и не говорить. *Человеческой* речью оказывается только то, чего могло не быть. Человеческий язык невозможен без основы молчания, и можно сказать что текст (текст это ткань, ткань речи) состоит из основы молчания и утка слова.

Молчание вносит разрыв между значением и применением слова. В каждом сказанном слове, кроме значения слова, его *quid*, есть и его *quia*, то что оно *есть*, то что оно сказано, а его могло не быть. И из-за основы молчания наш язык нельзя назвать просто изображением того что есть. Из-за того, что в него вплетено молчание, язык не сводится к пересчету данности. Дар слова не сводится к тому что одним удастся удачно подобрать слова к вещам, а другим не удастся. Эта схема, более точного или менее точного изображения, годится для машины, для компьютера, и компьютер не сравняется с человеком вовсе не потому, что компьютер не успеет так быстро сделать так много операций — он успеет еще быстрее сделать еще больше операций — а потому что человеческая речь не самописец, и люди не датчики в отличие от машины. Человеческая речь это не включение описания, после перерыва описания, а человеческая речь переплетена с молчанием всегда. Человек выбирает, что сказать и чего не говорить, не одноразово, а в каждой фразе, в каждом слове; причем так *рано* выбирает, что этот выбор для него самого едва заметен; точно так же как человек не знает как он ходит, раз уж он научился ходить — он не может описать как он это делает. Если что-то *не* говорится, это вовсе не значит что человек не видит чего-то, — вот не видит, не понимает и не говорит. Как раз наоборот! Кто молчит, тот возможно как раз видит вещи, о которых другой говорит; но видит так, что эти вещи отняли у него дар речи. Дети молчат чаще

как раз тогда когда их спрашивают о том, что они уже очень хорошо знают. «Покажи, а где мама!» Ребенок молчит. Вот таким молчанием ребенок часто сбивает с толку взрослых. С очень раннего возраста дети сознательно идут на риск показаться неразвитыми, лишь бы не поступиться выбором между речью и молчанием. Трагедия человека в школе в том, что за ребенком не признают права на молчание и хотят включать и выключать его, как описательную речь.

Выбор между молчанием и речью принадлежит к первой и последней свободе человека, и проходит насквозь через весь язык, и позволяет называть язык отражением окружения в буквальном смысле слова. Язык отражение. Окружение, как оно теснит нас, не может, благодаря тому что язык его отражает, никогда вполне подчинить нас себе. Язык его отражает в смысле не подпускает его к нам. Наш язык, отражая окружение, ставит неодолимую преграду окружению, оно не может к нам подступиться. И после этого, и благодаря этому, язык только и становится средой человеческого обитания, миром. Между теснящим нас окружением и миром стоит преградой, непреодолимой, отражая, язык. В природе сплошное проговаривание, без отражения, потому что без выбора между молчанием и речью.

Но вот это якобы определение — «человеческая речь есть то чего могло не быть» и «текст это ткань из основы-молчания и утка-слова», — это конечно тоже не дефиниция языка, это только эвристика, подступы и догадки. Мы собственно увязаем в попытке определить язык. Неясного становится всё больше. Но не нужно опять-таки жалеть о том, что мы потеряли мнимую определенность. Она ведь всё равно мало что нам давала. Будем довольны тем, что нам удается не уйти от вопросов.

Что в основе языка молчание, что основа языка молчание — это еще нам не дает определения языка, но уже показывает одну несомненную вещь: что отношение слова к вещам это *не* описание, не срисовывание. Т.е. именование вовсе не заключается в более или менее удачном подборе имени. Именование начинается сначала выбором между молчанием и словом, т.е. выбором: именовать ли вообще или оставить без имени. А потом еще выбором меры между называнием и умолчанием. Вот пример, который первый пришел в голову, а их можно было бы назвать/привести много. «Министерство обороны» это способ именованья между называнием и умолчанием. Мы и называем это учреждение, и молчим о нем одновременно. Молчим в этом названии, «Министерство обороны», о том, что на самом-то деле в нем занимаются далеко не только обороной. Или вот учебный такой, хрестоматийный пример: «медведь». Это способ и назвать зверя, страшного и загадочного, и умолчать о нем. Вот он медведь, он не хозяин леса, он поедатель меда. Язык до верху переполнен именами, в которых мы полуназываем, полумолчим. И свирепо оберегаем право на умолчание, и сами как следует не понимаем, почему нам так жизненно важно не называть вещи своими именами. Один такой совсем новый пример привел на лекции 7 сентября Вячеслав Всеволодович Иванов. Вещам в языке соответствуют вовсе не только описания; и даже то, как и что говорят, всегда зависит от того, о чем молчат и как именно молчат. Выбору между более или менее *точным* именованием — а этот выбор сам по себе труден, трудно подыскать точное слово — не только предшествует, но и постоянно сопутствует еще гораздо более трудный выбор: между поступком говорения и поступком

умолчания. Вот тот *главный* выбор опережающим и поэтому всегда неуловимым образом определяет каждую часть речи. Первое, главное и всего менее понимаемое — всего менее понимаемое в каждом сообщении — это появление сообщения именно здесь и теперь. Ведь то что оно *есть*, а могло бы не быть, это *тоже* знак, но только такой для которого *других* знаков уже нет; он синонимов себе уже не имеет. Знак, который не имеет синонимов. Мой выбор сказать здесь и сейчас то, что я сказал, и *не* сказать то что я *не* сказал, исключается из сделанного мной, или кем угодно, сообщения, исключается самым *актом* сообщения: акт сообщения это продолжения выбора. Люди слышат, *что* человек говорит, но что он *говорит* — это тоже знак; его истолковать гораздо труднее чем то *что* он говорит, так же трудно как молчание.

В том письме, которое входит под номером 7 в число платоновских Писем, по крайней мере они дошли под именем Платона, названа причина, по которой *всякое* сказанное слово в принципе ущербно. Эта причина та что истина равна только самой себе, и ничему другому равна быть не может, с. 342b. Поскольку истина как она есть это оно сама и ничто другое, к ней *нельзя* подобрать ничего другого, равного ей. Т.е. слово, пусть даже так называемое внутреннее слово мысли, становится другим от истины, как раз потому, что хочет быть *тем же* самым, другим тем же самым что она. Т.е. Платон говорит, истину *нельзя вынуть* из нее самой, *нельзя выставить наружу*.

А с другой стороны, по поводу этого места у Платона можно сказать вот что: если истину *нельзя вынуть* из нее наружу, если она не может выйти из себя самой в слово, и остаться, выйдя в слово, самой собой... или, если сказать не так категорично, сказать *намного* осторожнее, с чем уже всякий согласится: что истина уж в любом случае может и не войти в слово человека, вовсе не обязательно чтобы истина присутствовала в слове человека, то с другой стороны *отсутствовать* ведь она может тоже только в слове человека. Вещи и животные не умеют быть неистинными сами по себе, помимо употребления которое из них делает человек. Только один человек из всех существ рискует тем, что в *его* слове истина будет отсутствовать. Вот такой риск грозит только человеку. За каким-нибудь воробьем всегда есть своя неизменная правда; *неизменная*. Вот правда, которую воробей если хотите сам собой непосредственно означает. Он начинает быть *неправдой* и ничего не означать только вот скажем когда он влетел в комнату и говорят: «Это признак чьей-то близкой смерти», а другие говорят: «Нет, это не правда, это всего лишь примета». Вот только тогда птичка становится двусмысленной. Сама по себе она значит то, что она значит. Она представляет сама себя и в этом смысле всегда истинна.

Риск *не* истины, неправды грозит только человеку. Но как раз поэтому он ставит человека в совершенно исключительное отношение к истине. В самом деле, если выбор между более точным словом и менее точным словом это риск искажения истины, то выбор между молчанием и словом связан с другим риском, с *большим* риском: что истина будет отсутствовать тогда и там, где она могла бы присутствовать. И дело обстоит не так просто что если я смолчу, то я упущу сказать истину; а может быть как раз наоборот, молчание может оказаться более уместным чем слово. Молчание может говорить весомее чем

слово. Хотя *мое* молчание *говорящее* и говорю в нем *я*, я этим своим говорящим молчанием не распоряжаюсь как хочу; им распоряжаются похоже в такой же мере и другие, они истолковывают его так же, как истолковывают мое слово. Вот здесь открывается важная тема *метафоры*, метафоры в широком смысле, в том смысле, в каком всякое говорение и понимание это метафора. Из-за того что молчание *основа* всякого текста, т.е. всегда во всяком тексте есть то, куда неизбежно подставляется, должно быть подставлено истолкование, в тексте *осязаем* только уток, но не основа, да и кроме того весь язык, все слова языка наполнены умолчанием, говорящий *не* распоряжается смыслом говоримого, и всё сказанное по существу это изменение, переход смысла, метафора. Нас слышат не так, как мы хотим. Не потому что мы промахнулись или кто слышит неспособен, а иначе быть не может, потому что в тексте есть эти пропуски, эти просветы молчания.

С переводом античного определения, известного античного определения человека ζῷον λόγον ἔχον — переводят «живое существо, обладающее даром речи» — не всё обстоит благополучно. Как раз когда человек *отстаивает* в себе свое подлинное существо, которое *не* поддается определению, он настаивает на том, что нет, что по-настоящему он не то, что он говорит; что по-настоящему то, что он думает, то что он сам по себе является, высказать это нельзя. Т.е. человек говорящее существо, первое в природе по-настоящему говорящее существо, но еще больше его отличает то, что он первое в природе существо способное *умолкнуть* там, где дело заходит о нем самом в его сути. Если бы не было этого умолкания человеческого существа перед тем, что его как раз всего больше захватывает, в чем он как раз всего больше себя находит, если бы человек всегда равномерно разглашал себя, то об отличии его от биологического мира было бы трудно говорить. А кроме того, этот перевод ἄνθρωπος ζῷον λόγον ἔχον «обладающий даром речи» и не единственный возможный, и даже неправильный, λόγος не обязательно речь. Спасибо, время кажется кончилось.